

РАЗГОВОР У КОСТРА

ВАСИЛИЙ К.



Василий Ковалев

Разговор у костра

«Автор»

2026

Ковалев В.

Разговор у костра / В. Ковалев — «Автор», 2026

«Разговор у костра» — роман-притча об одном дне, одной ночи и одном огне. На берегу, где река молча отдаёт себя морю, человек разжигает костёр — не для тепла, а чтобы дать место разговору, для которого при свете дня не хватает смелости. К огню приходят люди без имён. Путник, шедший к морю пятнадцать лет и нашедший лишь линию горизонта. Женщина, полжизни, искавшая «особенного», пока тепло жило за стенкой. Человек, тридцать лет строивший стену от людей. Сын, пять лет молчащий с отцом, но каждую неделю точащий его нож. Вдовец, который печёт по четвергам кривые пироги — по её рецепту. Каждый приносит свою занозу. Каждый уносит свою веху — про кулак и раскрытую ладонь, про узлы, завязанные второпях, про луну, которую никто не зовёт предательницей за то, что она убывает. Читается за одну ночь. Греет — годами. Осторожно: дочитав, вы захотите позвонить тому, с кем давно молчите, и обнять того, кто рядом. Костёр разожжён. Садитесь ближе.

© Ковалев В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
ПРОЛОГ	6
ГЛАВА ПЕРВАЯ	9
ГЛАВА ВТОРАЯ	15
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Разговор у костра

Глава

ПРОЛОГ

роман-притча об одном дне, одной ночи и одном огне

Зачем огонь, когда светло?

Затем, что свет — не всюду свет.

К костру приходят без имён —

и в этом весь секрет.

Я должен сказать вам одну вещь, прежде чем мы сядем к огню. Скажу коротко, без обиняков, как говорят на берегу, где нет времени на длинные предисловия, потому что скоро стемнеет, а дрова еще не заготовлены.

Всё это было. Не в том смысле, в каком было написано в этой книге — с чужим морем, с чужой рекой, с людьми без имён, которых я собрал из десятка разных вечеров в один. А в том простом, детском смысле, в каком бывает то, что видел своими глазами и не можешь забыть, сколько бы лет ни прошло.

Я вырос вблизи озера Байкал. Мне было лет семь или восемь, когда отец впервые взял меня с собой к воде на ночь — не купаться, не рыбачить даже, а просто «посидеть у огня, раз уж мужику пора привыкать». Я тогда не понимал, зачем взрослые люди сидят ночью на холодных камнях, глядя в пламя, вместо того чтобы спать в тёплом доме. Понял значительно позже — когда сам стал разжигать костры для других.

Байкал ночью — это не то же самое, что Байкал днём. Днём он большой, синий, туристический, его фотографируют. Ночью он превращается в чёрную стену без начала и конца, и единственное, что отделяет тебя от этой стены, — маленький жёлтый круг света в три-четыре шага шириной. И вот в этот круг, я помню совершенно точно, всю мою жизнь кто-то приходил. Рыбаки, возвращавшиеся поздно. Случайные путники, сбившиеся с тропы. Однажды — охотник с картой, на которой не было ни одной дороги, только реки. Они садились, грелись, и через какое-то время — не сразу, но обязательно — начинали говорить. Не про погоду. Про то, что действительно болело или радовало, про то, что дома, при свете лампы, за общим столом, никогда бы не решились сказать вслух.

Я сидел рядом, маленький, и меня как будто не замечали — а если и замечали, то не считали помехой, потому что ребёнок у костра — часть пейзажа, как камень или коряга. И слушал. Я не запомнил ни одного имени. Честно вам признаюсь: я не уверен, что кто-то из них вообще называл своё имя. Случайные путники так и остались для меня «тем, что шёл от воды» и «тем, кто вязал сеть» и «той, что принесла омуля, завёрнутого в пергамент». Имена стёрлись за тридцать с лишним лет, а истории — нет. Ни одна не стёрлась. Они лежат во мне ровными слоями, как галька на байкальском берегу, — и когда я перебираю их сейчас, спустя целую жизнь, я слышу те же голоса, вижу те же руки, протянутые к огню.

Вот из этого и родилась книга, которую вы держите. Я перенёс костёр с холодного байкальского берега на другой — тёплый, где река встречается с морем, потому что так было нужно для дыхания самой истории, для её сюжета. Но огонь — тот же самый. И правда, что говорила у него, — та самая, услышанная мальчишкой, который тогда ещё не понимал ни слова из настоящего смысла, а просто грел руки и запоминал интонации, чтобы много позже, взрослым человеком, разгадать, что именно ему сказали.

Теперь — то небольшое, что нужно объяснить, прежде чем мы начнём.

- Про имя

Вы заметите: ни у кого в этой книге нет имени. Ни у путника, что снял ботинки. Ни у женщины с хлебом. Ни у старика, что хоронил жену сорок один год спустя после свадьбы. И это не литературная игра, поверьте — это правда о том, как всё было на самом деле, там, на настоящем берегу, в моём собственном детстве.

Задумайтесь на секунду вот о чём. У каждого дерева есть тень. Она то длинная, вытянутая, худая — рано утром или под вечер, когда солнце идёт низко. То короткая, почти под самым стволом — в полдень, когда светит прямо сверху. А в пасмурный день тени нет вовсе — она просто прячется, растворяется в общем сером свете. И знаете, что удивительно? Дерево от этого не меняется. Оно то же самое дерево, что с длинной тенью утром, что с короткой в полдень, что вовсе без тени в облачный день. Тень — это не дерево. Тень — это просто то, что случается с деревом, когда рядом есть солнце и есть земля, готовая эту тень принять.

Вот так же и имя для человека. Оно длинное или короткое в зависимости от того, кто на тебя смотрит и в какой час дня. Для матери ты один, для случайного соседа — другой, для начальника — третий, а по паспорту — вообще четвёртый. Имя вытягивается и укорачивается, звучит ласково или сурово, но сам человек, стоящий за ним, остаётся тем же самым стволом, что и в детстве, — с теми же кольцами внутри, что нарастают год за годом, с теми же корнями, вцепившимися в свою землю.

У костра, там, на настоящем берегу, я понял это раньше, чем смог бы объяснить словами: когда человек садится к огню и заговаривает о самом важном — о потерянной любви, о непрощённой обиде, о смерти, которая скоро придёт и за ним, — ему совершенно не нужна тень. Ему не нужно, чтобы вы знали, длинная она у него или короткая, вытянута ли она в сторону богатства или в сторону бедности, известности или безвестности. В такую минуту важен только ствол. Только то, что внутри. И потому у огня — не от литературной хитрости, а от самой человеческой природы — имя стирается первым, ещё до рассвета, ещё до того, как погаснут угли.

- Про то, чему меня научила вода задолго до всяких книг

Я не стану утомлять вас в самом начале большой философией — вся она ещё впереди, у костра, будет проговорена простыми людьми простыми словами, без учёных терминов. Скажу лишь одну вещь, которую понял на Байкале ребёнком и с тех пор ни разу не разучился в неё верить.

Самая большая вода в мире — не самая шумная. Байкал в тихую погоду молчит так, что слышно, как трещат угли в костре за пятьдесят шагов. А маленький ручей в горах орёт на весь распадок, торопится, прыгает через каждый камень, будто хочет всем доказать, что он тоже вода. Взрослея, я понял: чем больше в человеке настоящей глубины, тем меньше ему нужно шуметь, чтобы её доказать. Самые тихие люди, каких я встречал в жизни, — самые полные внутри. И самая сильная вещь на свете — не та, что давит и ломает, а та, что уступает, обтекает, находит нижнее место и терпеливо его заполняет, никуда не торопясь, зная, что рано или поздно и камень станет песком.

Этому меня научила не книга. Этому меня научил берег, отец, костёр и десятки безымянных людей, посидевших рядом со мной одну ночь и ушедших навсегда, оставив после себя только слова, — слова, которые я теперь, спустя целую жизнь, отдаю уже вам.

И последнее, самое простое-

Не ждите от этого пролога ответов — их не будет и дальше, во всей книге, в привычном смысле, годном для того, чтобы наклеить на холодильник. Ждите вопросов, заданных так подоброму и просто, что ответ вырастет из них сам собой — как трава прорастает не потому, что ей приказали, а потому что кто-то, не считаясь со своим временем, полил именно это место.

История начинается на рассвете одного самого обычного дня. Серый песок с ракушечной крошкой. Река встречается с морем и не спорит с ним — просто перестаёт быть отдельной. Человек разжигает костёр — не для тепла, тепла и без того хватает, — а для того, чтобы дать место разговору, для которого при свете дня всегда не хватает смелости.

К этому костру, как когда-то на другом, настоящем берегу моего детства, подойдут люди без имён. Они посидят одну ночь и уйдут навсегда — растворятся в утреннем тумане, как растворяются в море реки, оставив после себя не имена, а тепло. И если, дочитав книгу до конца, вы вдруг поймёте, что где-то в глубине себя уже давно знали всё, что здесь будет сказано, — просто до сих пор это стояло в тени, — то знайте: где-то на другом краю земли, много лет назад, маленький мальчик, кутаясь в отцовский ватник, слушал ровно те же слова у ровно такого же огня. И запомнил их для вас.

Костёр разожжён. Дым поднимается ровно, без ветра, прямо в светлеющее небо.

Разговор начинается.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он шёл к воде пятнадцать лет, а там — лишь линия вдали. Снял башмаки.

И в первый раз почувствовал — шаги свои.

Костёр был разложен по всем правилам, каким когда-то, много лет назад, кто-то давно безымянный научил самого разжигавшего: сначала сухая труха и березовая береста, тонкая, свёрнутая, как старое письмо, потом веточки толщиной с мизинец, уложенные шалашиком, чтобы воздух гулял свободно и не задыхался в собственном дыме, и только после того, как огонь взялся сам, уверенно, без подкормки, — уже более толстые ветки, плавник, побелевший от соли и солнца, отслуживший своё дереву и теперь готовый послужить огню. Такой костёр горит долго и ровно, без суетливых вспышек и обидных внезапных угасаний. Он горит так, как должен гореть тот, кому предстоит собирать вокруг себя людей до самого следующего рассвета.

Дым от него поднимался прямо вверх, без единого наклона, — знак того, что ветра не было вовсе, что море и берег в этот ранний час замерли в редком взаимном согласии, какое случается только в первый час после ночи, когда ещё никто ничего не решил делать, а солнце ещё только собирается с духом, чтобы взойти. Где-то за дюнами один раз, отрывисто и хрипло, крикнула птица — не для того, чтобы кого-то предупредить, а просто потому, что молчать дальше было уже как-то нелепо.

И вот в этой утренней тишине, ещё серой, ещё пахнувшей ночной прохладой и мокрыми водорослями, вынесенными вчерашним прибоем, у самой кромки воды показалась фигура.

Он шёл со стороны моря — оттуда, откуда обычно никто не приходит, потому что оттуда идти уже некуда, разве что обратно. Шёл ровно по границе, где мокрый песок ещё держит след, а сухой уже осыпается: там, где идти легче, но так ходят только те, кто давно перестал бояться, что вода однажды догонит и намочит ноги. Ботинки, стянутые за шнурки в узел, висели у него через плечо, как переброшенное через ветку бельё, и по тому, с каким небрежным, привычным равнодушием они болтались при каждом шаге, было ясно: их владелец уже не помнит точно, когда в последний раз обувал их всерьёз, а не просто нёс с собой по старой привычке — вдруг понадобятся.

Он ступал медленно, и в этой медленности не было усталости в обычном смысле слова — не той усталости, что просит немедленно сесть и не двигаться. Была другая, более глубокая: усталость человека, который в какой-то момент своего долгого пути перестал считать шаги вообще, потому что счёт шагов требует человека, всё ещё меряющего расстояние до цели, а у этого человека, судя по всему, цель осталась где-то позади, а впереди теперь был просто путь как таковой, без числителя и знаменателя.

Он увидел огонь издалека — тот горел ровно там, где по всем разумным меркам огню было решительно не место: солнце вставало, обещая скорое тепло, и разжигать костёр под открывающимся утренним небом выглядело так же нелепо, как зажигать свечу в комнате с распахнутыми на полдень окнами.

Путник остановился шагов за двадцать. Не подошёл сразу — рассматривал огонь так, как рассматривают вещь, о существовании которой давно забыли, а потом неожиданно встретили и не сразу вспомнили, для чего она вообще нужна.

— Днём? — спросил он наконец, не двигаясь с места, и голос его был тем особым голосом человека, который давно ни с кем не разговаривал и потому произносит слова слегка удивлённо, как будто заново пробует их на вкус. — Кто жжёт костёр, когда светло?

— Тот, кто знает, что светло не везде, — ответил сидевший у огня, не поднимая головы от пламени, словно вопрос был вполне ожидаемым, будто он уже слышал его однажды, много лет назад, от кого-то другого, у другого костра. — Солнце освещает берег. Оно не освещает человека изнутри. Там у каждого своё время суток.

Путник усмехнулся — коротко, одним движением губ, — но не ушёл. Он ещё немного постоял, переступая с ноги на ногу, разминая ступни, привыкшие за долгую дорогу к песку и камню и теперь как будто удивлённые тем, что можно вот так просто стоять на месте, не двигаясь вперёд. Потом сел — не рядом, а чуть в стороне, на том самом расстоянии, на каком садятся люди, ещё не решившие для себя, стоит ли задерживаться дольше, чем на пару вежливых фраз.

— И какое же время суток у вас? — спросил он, глядя не на собеседника, а всё так же на огонь, будто разговор с пламенем был для него привычнее разговора с человеком.

— Утро, — сказал сидевший. — Но я долго шёл к нему через ночь. Поэтому и огонь: по привычке. Человек, знающий цену тьме, не гасит огня даже в полдень.

— А у меня, выходит, вы разглядели ночь? Раз предлагаете погреться.

— Я ничего не предлагаю. Огонь предлагает. Я только слежу, чтобы он не гас.

Путник промолчал, но во взгляде его, брошенном теперь на собеседника чуть внимательнее прежнего, читалось что-то вроде первого зачатка доверия — того самого доверия, что рождается не от красивых слов, а от того, что человек не пытается тебе что-то навязать, а просто оставляет дверь приоткрытой и уходит по своим делам, зная, что ты сам решишь, входить или нет.

Он посмотрел на воду. Река входила в море широко и спокойно, без единой видимой границы, и на глаз было решительно невозможно определить, где кончалась пресная вода и начиналась солёная: они стояли рядом, как два человека, которые давно перестали спорить о том, кто из них главнее, потому что нашли себе занятие получше — просто течь дальше вместе.

— Я иду от моря, — сказал он наконец, и в этих трёх словах было уже что-то вроде первого настоящего признания, куда более честного, чем весь предыдущий обмен любезностями о времени суток. — Все идут к морю. А я — от него. Знаете, сколько лет я к нему шёл?

Он не дождался ответа — да, кажется, и не ждал его вовсе, потому что вопрос был обращён не столько к сидевшему у костра, сколько к самому себе, произнесённый вслух впервые за много лет молчания.

— Пятнадцать, — сказал он. — Пятнадцать лет я откладывал деньги на эту дорогу и говорил себе, что откладываю не деньги, а всю остальную жизнь: вот дойду до моря — и тогда заживу. Отказывался от того, что называется мелкими радостями, — от лишнего часа сна, от ненужных, как мне казалось, разговоров с людьми, у которых, в отличие от меня, не было никакого плана, а значит, по моим тогдашним меркам, и цены особой не было в их обществе. Ссорился с теми, кто звал меня отдохнуть раньше срока, потому что у меня был план, а планы, как мне представлялось, не терпят перерывов, любой перерыв казался мне предательством самого себя. Я говорил себе: дойду до моря — и всё встанет на свои места. Все жертвы окупятся одним-единственным видом горизонта.

Он замолчал, и в этом молчании было заметно больше, чем во всей произнесённой прежде речи, — так бывает молчание тяжелее слов, когда человек подходит вплотную к тому месту в собственном рассказе, дальше которого рассказывать особенно не хочется, но и остановиться уже нельзя.

— Дошёл, — сказал он наконец. — Постоял. Посмотрел. Знаете, что там, на краю?

— Что?

— Ничего, — сказал путник, и в этом слове прозвучала такая ровная, беспримесная усталость, что даже пламя, казалось, на секунду притихло, прислушиваясь. — Горизонт. Линия, до которой нельзя дотронуться, сколько ни иди. Я всю жизнь думал: дойду — и станет ясно. Работал так, словно море мне что-то должно, будто оно там сидело все эти пятнадцать лет и терпеливо копило для меня какой-то особый смысл, ждало моего прихода, чтобы торжественно вручить награду за всё моё долгое терпение. Бросал по дороге всё, что мешало идти быстрее: людей, привычки, целые города, в которых у меня, между прочим, были друзья, — я разбирал их, эти дружбы, на дорожные припасы точно так же, как разбирают старую мебель на дрова, когда становится холодно и нужно срочно чем-то топить очаг. Налегке дошёл. Совсем налегке — уж куда легче. И там оказалось просто много воды. И линия, до которой нельзя дотронуться. И я повернул назад. Только вот беда: назад — куда? Всё, что было домом, я сам, своими же руками, разобрал на дорожные припасы задолго до этого дня.

Сидевший у огня неспешно подложил в костёр белую, обкатанную морем ветку. Пламя взяло её не сразу — попробовало осторожно, как пробуют незнакомую еду, прежде чем решить, стоит ли принимать её целиком.

— Ты не первый, кто путает цель и направление, — сказал он, и голос его был таким, каким говорят не с целью уличить, а с целью помочь увидеть то, что и без того давно лежит перед глазами, просто некому было раньше на это указать. — Это одна из самых старых человеческих ошибок, и удивительно, до чего упорно каждое новое поколение повторяет её заново, будто предыдущие вовсе не оставили после себя никаких записей на этот счёт. Цель — это точка. Направление — это способ идти. Точка обманывает почти всегда: дойдя до неё, обнаруживаешь, что она была нужна вовсе не сама по себе, а для того лишь, чтобы у тебя было куда идти. Море не виновато перед тобой. Оно ничего тебе не обещало. Обещал ты сам — от его имени, а потом удивляешься и обижаешься, что оно не выполнило обещания, которого никогда, ни единым словом, не давало.

— Хорошо. «Допустим», — сказал путник, и в голосе его впервые прозвучало что-то похожее на живой интерес, а не только усталость. — Но что тогда не обманывает?

— То, что происходит с тобой в пути, — сказал сидевший. — Смотри внимательно, я хочу, чтобы ты увидел это не только услышанным, но и по-настоящему увиденным собственными глазами. Река течёт к морю вовсе не потому, что море — награда за долгое течение. Она течёт, потому что такова её природа: находить самое низкое место и заполнять его собой, никого об этом не спрашивая. Она не спорит с камнем, вставшим у неё на пути, — она просто обходит его, находя дорогу там, где камня нет. Не борется с обрывом, будто обрыв — личный враг, — падает и продолжает течь дальше, как если бы само падение было для неё просто ещё одним способом движения, а не катастрофой, о которой нужно горевать и которую нужно оплакивать. Она не гордится тем, что поит своей водой чужие поля, и не жалуется, что её мутят стада, переходящие вброд в самом неудобном для неё месте. И заметь главное, самое важное во всём этом: именно потому, что она вовсе не требует от своего устья какого-то особого смысла в награду за долгий путь, она в конце концов действительно до него доходит. А человек — человек часто останавливается на середине дороги. Причём не столько от усталости даже, сколько от простой человеческой обиды на то, что путь не платит ему вперёд, как будто дорога — это касса с окошком для расчётов, а не просто дорога, по которой идут ради самого хождения.

Путник долго молчал, разглядывая собственные руки — обветренные, тёмные от солнца, с содранной кожей у самых костяшек, там, где ладони держались за что-то шершавое слишком долго и слишком крепко.

— Значит, я шёл неправильно? — спросил он наконец, и в вопросе этом слышалась та особая детская интонация, с которой взрослые люди иногда, ненадолго, снова становятся мальчишками, ожидающими от старшего либо утешения, либо порки, либо и того и другого сразу.

— Ты шёл, как умел, — ответил сидевший мягко, без малейшего осуждения в голосе. — Это не вина твоя, это возраст души — у каждого человека внутри свой собственный возраст, вовсе не совпадающий с тем, что написан в паспорте, и этот внутренний возраст определяет, какими именно ошибками мы уже умеем ошибаться, а какими пока ещё нет, потому что не доросли. Но теперь у тебя есть редчайшая в своём роде возможность: обратный путь. Мало кто идёт от моря обратно к горам. А ведь вода, если понаблюдать за ней достаточно долго, ходит именно так: незаметно, через небо, через невидимое человеческому глазу испарение, через облака, которые никто особо не замечает, пока они вдруг не станут дождём и не обрушатся на землю с полным правом старого знакомого, вернувшегося домой. То, что было растрачено на пути вниз, возвращается лишь тем, кто согласен подниматься. Медленно. Без зрителей, готовых поаплодировать. Без горизонта, который можно было бы с гордостью показать другим и получить в награду восхищённое одобрение.

— И что я найду там, наверху? — спросил путник, всё ещё не поднимая взгляда от собственных обветренных рук.

— Не знаю, — честно сказал сидевший. — Может быть, исток. Но скорее всего — самого себя, оставленного на разных отметках высоты, как забытые вещи в чужих домах, где когда-то ночевал проездом. Понимаешь, в чём тут вся разница? Человек, спускающийся к своим целям, раскладывает самого себя по дороге, точно путевые вехи: вот здесь я оставил способность искренне удивляться, потому что было, видите ли, некогда удивляться, дела ждали. Вот здесь — способность по-настоящему слушать другого человека, потому что был слишком занят внутренним разговором с самим собой о собственном блестящем будущем. Вот здесь — оставил друга, того самого, что звал отдохнуть раньше срока, потому что дружба, представьте себе, мешала повседневным планам, отвлекала от главного. Поднимаясь обратно, он себя собирает. Каждый шаг вверх — это ведь вовсе не движение к какой-то новой, ещё не открытой цели, а простое возвращение старой потери, оставленной когда-то по дороге вниз без всякой видимой причины, просто потому что казалось: время ещё будет, вещь эту всегда можно подобрать позже.

Солнце между тем поднялось ещё немного выше, и первый его настоящий, уже не робкий луч тронул кромку воды у самых ног путника — тот самый край прибоя, по которому он только что шёл столько дней подряд, что давно потерял им счёт. Вода на мгновение вспыхнула мелкой рябью, будто её только что окликнули по имени, и она обернулась.

Путник посмотрел на собственные босые ноги, потом на ботинки, всё так же покорно висящие через плечо, — и в этом взгляде было что-то новое, чего не было прежде, какая-то первая трещинка в привычной усталости.

— Странно, — сказал он. — Я снял обувь три дня назад просто потому, что она стёрла мне ноги в кровь, и я решил, что так удобнее идти. А теперь вот сижу и думаю: может быть, я на самом деле впервые за все пятнадцать лет просто захотел почувствовать. Ботинки ведь для того и придуманы людьми, если вдуматься, чтобы не чувствовать дорогу под ногами вовсе. Удобно, конечно. Но... как-то совсем не по-настоящему получается. Будто идёшь не сам, а тебя везут.

— С этого обычно всё и начинается — обратный путь, — сказал сидевший, и в голосе его прозвучало что-то похожее на тихую радость, с какой встречают первый, ещё слабый, но верный признак выздоровления у долго болевшего человека. — Не с торжественного решения, принятого за столом, с ручкой и чистым листом бумаги, где заранее прописаны все пункты будущей новой жизни. А с самого простого, малого желания — почувствовать то, по чему в самом деле идёшь. Это желание даже не выглядит поворотным моментом, оно слишком тихое и незаметное для этого, оно легко теряется на фоне более громких, куда более выразительных

на первый взгляд решений. Но именно из таких вот малых, почти неразличимых желаний и складывается впоследствии вся дальнейшая человеческая жизнь целиком — куда в большей степени, чем из громких решений, принятых второпях, в порыве отчаяния или воодушевления.

Он помолчал немного, глядя, как первый утренний луч медленно, неохотно карабкается вверх по мокрому песку, и добавил, всё так же не отрывая взгляда от огня:

— Ты сказал: пятнадцать лет откладывал самые простые радости ради цели, которая в итоге оказалась просто линией на воде, до которой нельзя дотянуться рукой. Хочу спросить тебя — не для того, чтобы лишний раз ранить, а для того лишь, чтобы ты сам себе честно ответил, без свидетелей: если бы ты знал в самом начале своего пути, что там, на самом краю, будет только эта линия и больше решительно ничего, — пошёл бы ты всё равно?

Путник думал долго. Пламя за это время успело прогореть на добрую треть, прежде чем он наконец ответил, и голос его теперь звучал совсем иначе, чем в начале разговора, — без прежнего надрыва, спокойнее, будто он всё это время не столько отвечал собеседнику, сколько наконец-то честно отвечал самому себе, много лет откладывавшему этот простой разговор.

— Не знаю точно, — сказал он. — Наверное, да, пошёл бы. Но совсем по-другому. Не бегом бы шёл. Не отказываясь от людей по дороге, как от лишнего груза. Шёл бы медленнее — и, может быть, дошёл бы значительно позже, чем дошёл сейчас, но пришёл бы к этому самому морю не пустым внутри, а полным всего того, что я по дороге растерял, потому что слишком уж торопился.

— Вот это, — сказал сидевший, и в этих словах прозвучало нечто похожее на тихое, сдержанное удовлетворение, — и есть самый первый настоящий шаг твоего обратного пути. Ты только что, своими же словами, нащупал разницу между «дойти» и «прийти». Дойти можно бегом, пустым внутри, любой ценой, не считаясь ни с чем и ни с кем по дороге. Прийти можно только полным — тем, что успел накопить в пути, а не тем, что бросил ради лишней скорости.

Огонь качнулся под лёгким утренним ветром, потянувшим наконец с моря, лёг было набок, но тотчас выпрямился снова, будто примерил на себя чью-то усталость и решил, что она ему не подходит.

Путник долго смотрел на пламя, потом медленно, как будто впервые за долгое время позволяя себе такую роскошь, опустился поудобнее на песок — не тем настороженным полусидом, каким сел вначале, готовый в любую секунду подняться и уйти, а по-настоящему, всем телом, признавая тем самым, что задержится здесь дольше, чем сам собирался.

— Знаете, что самое странное во всей этой истории? — сказал он тихо, глядя уже не на огонь, а куда-то за него, в сторону далёких, едва различимых в утренней дымке гор. — Пятнадцать лет я шёл к морю и ни разу, ни единого раза, не подумал о том, что за морем-то, оказывается, есть ещё и горы. Море казалось мне краем света в самом буквальном смысле — концом всякого пути, дальше которого и думать не о чём. А выходит, что край света — это просто то место, где заканчивается твоё собственное воображение, а не сама земля.

— Именно так, — сказал сидевший. — И в этом, если вдуматься, всё и дело. Человек, идущий к морю, обычно вовсе не смотрит назад, на горы, откуда сама эта вода, которую он так жаждет увидеть, когда-то начала свой путь. А ведь без гор никакого моря просто не было бы вовсе. Море — это то, чем становится вода, прошедшая долгий путь, а вовсе не то, чем вода является сама по себе, изначально, по своей природе.

Путник долго молчал, обдумывая услышанное, и в этом молчании было уже не прежнее опустошённое безразличие, а нечто похожее на первую робкую работу мысли, только-только начавшую разбирать завалы, накопившиеся за долгие годы спешки.

Солнце тем временем взошло уже почти полностью, и медовый утренний свет разлился по всему берегу — по серому песку с ракушечной крошкой, по чёрным сваям старого причала, по спокойной воде, где река и море всё так же мирно стояли рядом, давно позабыв, кто из них здесь главный.

Так родилась первая веха этого долгого дня, оставленная на песке двумя людьми, один из которых шёл пятнадцать лет, а другой всего лишь терпеливо поддерживал огонь: не спрашивай у цели готового смысла — истинный смысл всегда лежит на самой дороге, и его непременно нужно поднимать своими же руками, шаг за шагом, а не ждать, что он сам преподнесётся в конце пути в подарочной упаковке; и помни, крепко помни: дойти пустым — совсем не то же самое, что прийти полным.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Два узла на одной верёвке —

на глаз не отличишь никак.

Но шторм придёт — и станет ясно,

в котором жил невидимый страх.

Пока солнце поднималось к своей утренней высоте, неспешно отдирая от берега последние ключья предрассветной серости, путник от моря так и остался сидеть у костра — уже не тем измождённым, безымянным пришельцем, каким подошёл на рассвете, а человеком, которому дали подумать, и он этим воспользовался. Он сидел, обхватив колени руками, и время от времени поглядывал на свои босые ступни в песке с таким видом, будто заново с ними знакомился.

Со стороны рыбацких сараев, тех самых, что серыми покосившимися рёбрами торчали в полукилометре по берегу, донёсся сначала звук — глухой, ритмичный скрип уключины, потом стук лодочного борта о причал, а потом уже показался и сам источник этих звуков: невысокий, кряжистый человек, идущий неторопливо, но и не медленно, тем ровным, размеренным шагом, каким ходят люди, привыкшие всю жизнь иметь дело с вещами, которые не терпят суеты, — с водой, с сетью, с погодой.

Он нёс на плече моток верёвки — толстой, просмолённой, с тем особым запахом дёгтя и соли, который безошибочно узнаётся с десяти шагов и который ни с чем не спутаешь, если хоть раз в жизни бывал на настоящем, работающем берегу, а не на курортном песке для отдыхающих. Руки его, когда он подошёл ближе и стало возможно их разглядеть, были покрыты множеством мелких белых шрамов — не страшных, не уродующих, а каких-то обжитых, привычных, как морщины на лице у человека, который много смеялся: такие шрамы бывают только у тех, кто всю жизнь работает с сетями, с ножами, с обожжённым солнцем деревом вёсел, у тех, для кого порезанный палец — не происшествие, а просто часть рабочего дня, о которой не стоит даже упоминать за ужином.

Он подошёл, не здороваясь — просто кивнул один раз, коротко, как кивают человеку, которого видели, вчера, хотя видели его сейчас, разумеется, впервые, — и сел неподалёку от костра, на таком расстоянии, чтобы огонь грел, но дым не ел глаза. Опустил моток верёвки себе на колени и принялся её перебирать, ловкими, короткими, совершенно не задумывающимися движениями пальцев отыскивая те места, где старое волокно истрепалось и просило нового узла.

— Не помешаю? — спросил он, не поднимая головы от работы, и в этом вопросе не было ни капли настоящего беспокойства — так спрашивают из вежливости люди, которые давно знают ответ и просто соблюдают приличия берега.

— Огонь не помеха тому, кто занят делом, — ответил сидевший у костра. — Он мешает только тем, кто ничем не занят и потому ищет, на что бы отвлечься.

Мастер усмехнулся уголком рта — едва заметно, одной половиной лица, — и ничего не ответил, продолжая работать. Узел за узлом, ровное движение пальцев, короткий рывок, проверка на прочность — и снова следующий метр верёвки, следующий потёртый участок, требующий внимания.

Путник от моря наблюдал за этими руками довольно долго, прежде чем заговорить, — и, наверное, было в этом наблюдении что-то целительное для него самого, потому что человек, ещё утром говоривший о разобранной на дрова собственной жизни, теперь смотрел на чужие уверенные пальцы так, как смотрят на нечто, чего сам давно лишился и только сейчас начинает замечать эту потерю.

— Я сорок лет вяжу узлы, — сказал наконец мастер, будто отвечая не на прозвучавший вопрос, а на невысказанный, витавший в воздухе между ними. — Мой отец вязал, его отец вязал. У нас в роду, если разобраться, единственное настоящее наследство — вот эти самые руки, обученные ещё в детстве не бояться верёвки. Знаете, что я понял за все эти сорок лет практики? Что узел, завязанный второпях, держит ровно до первого сильного волнения на воде. А узел, завязанный с терпением, — держит и в самый лютый шторм. И разница между этими двумя узлами, заметьте, вовсе не в силе руки, которая их вяжет. Она — в терпении этой руки.

Путник от моря, всё ещё сидевший у огня со своими стёртыми, обветренными ногами, посмотрел на мастера с проснувшимся интересом — тем особым интересом человека, который весь день слушал о вещах отвлечённых, о горизонтах и целях, и вдруг услышал о чём-то предельно конкретном, осязаемом руками.

— А если руки нет времени учить терпению? — спросил он. — Если сама жизнь торопит, не спрашивая разрешения?

— Жизнь никогда никого не торопит, — сказал мастер, не отрываясь от узла, будто эта мысль давно была для него такой же очевидной, как приливы и отливы. — Торопится только сам человек. Жизнь идёт со своей собственной, неизменной скоростью — со скоростью роста дерева, со скоростью течения реки, со скоростью, с которой сохнет на солнце свежая краска. Она вовсе не ускоряется от нашей человеческой суеты и не замедляется от нашего терпения, ей до этого попросту нет дела. Просто тот, кто торопится, идёт не в ногу с ней, спотыкается на её собственном, неспешном ритме — а потом винит саму жизнь в том, что она была слишком быстрой. Хотя жизнь всё это время была той же самой, какой была всегда, ни на волос не изменившись.

Сидевший у костра, до этого молча наблюдавший за разговором, кивнул и подложил в огонь очередную ветку — сухую, звонкую, тут же занявшуюся весёлым, потрескивающим пламенем.

— Расскажи о своём ремесле, — попросил он мастера. — Это большая редкость — встретить человека, который сорок лет подряд занимается одним и тем же делом и до сих пор не устал говорить о нём с удовольствием, а не с усталой обречённостью старого раба своей профессии.

Мастер отложил на мгновение верёвку в сторону, вытер руки о штанину и посмотрел на воду — туда, где у самого берега покачивались на мелкой утренней волне рыбацьи лодки, привязанные к вбитым в песок кольям.

— Когда я был молодым, — начал он, и голос его стал немного другим, более мягким, будто он сам себе рассказывал давно знакомую историю, — я думал, что ремесло — это дело исключительно про мастерство рук. Что чем быстрее я вяжу узел, чем ровнее и скорее строгаю доску для лодочного борта, тем, стало быть, лучше я как ремесленник, тем выше моя цена в глазах других рыбаков. Отец надо мной посмеивался. Говорил коротко: ты вяжешь узел быстро, сынок, а держит он так себе, слабовато. Я обижался, конечно, — а кто в юности не обижается на правду, особенно на правду, сказанную собственным отцом с этой его вечной невозмутимой

усмешкой? А потом однажды случился шторм — не самый страшный, но приличный, — и у меня в ту ночь порвалась сеть. Та самая сеть, которую я связал сам, своими же руками, быстро, с гордостью за собственную скорость и ловкость. И я стоял тогда на этом самом берегу, смотрел, как чёрная вода уносит в темноту весь ночной улов вместе с сетью, — и понял, что отец был прав задолго до того, как я сумел это признать вслух хотя бы самому себе.

— И что же изменилось после этого случая? — спросил путник от моря, подавшись немного вперёд.

— Я стал вязать медленнее, — сказал мастер просто, без всякого пафоса. — Не потому, что вдруг решил стать мудрее, — я тогда ещё и не думал такими высокими словами вовсе. Просто мне стало физически, буквально в животе, страшно вязать быстро — тело моё запомнило тот урок гораздо раньше, чем ум успел его как следует осмыслить и разложить по полочкам. И знаете, что оказалось самым удивительным во всей этой истории? Медленно связанный узел получился не только крепче прежнего. Он получился ещё и красивее. Ровнее. В нём не было того едва уловимого нервного напряжения, которое всегда чувствуется в спешке, даже если результат внешне, на первый неопытный взгляд, выглядит точно так же, один в один.

Он взял в руки моток верёвки, аккуратно развернул его на коленях и указал заскорузлым пальцем на один из узлов, ровный, плотный, аккуратно подогнанный виток к витку.

— Вот, смотрите сами. Этот узел я вязал сегодня утром, никуда не торопясь, глядя краем глаза на восход солнца над водой. — Он передвинул палец чуть дальше по верёвке, туда, где узел выглядел немного небрежнее, чуть перекошенным. — А вот этот я вязал вчера вечером второпях, спеша поскорее домой к ужину, потому что жена не любит, когда еда стынет на столе в ожидании. Потрогайте оба узла руками. Почувствуете разницу пальцами, даже если и не станете специально приглядываться глазами?

Женщина, которая как раз в это самое время неспешно подходила к костру со своей плетёной корзиной, укрытой сверху льняным полотенцем, — та самая женщина, которой предстояло вскоре сыграть свою роль в этом долгом дне, а пока она лишь была привлечена звуком голосов, доносившимся со стороны берега, — на секунду замедлила шаг, с любопытством остановилась, протянула руку и тоже потрогала оба узла, один за другим, ощупывая их подушечками пальцев с тем особым, почти детским вниманием, с каким трогают незнакомую ткань в лавке.

— Правда, разные, — сказала она удивлённо, приподняв брови. — Хотя выглядят они, если честно, почти одинаково — на глаз-то я бы никогда не отличила.

— В том всё и дело, — кивнул мастер с видимым удовлетворением, будто получил именно тот ответ, на который рассчитывал. — Со стороны никогда не видно разницы между спешкой и подлинным терпением. Она видна только на ощупь, только руками, и то не сразу, а лишь тогда, когда начинаешь по-настоящему проверять вещь на прочность. Так ведь и с людьми происходит совершенно то же самое. Со стороны бывает крайне трудно отличить человека, который делает добро наспех, для галочки, для собственного спокойствия, от того, кто делает то же самое доброе дело неторопливо, вкладывая в каждое своё движение всего себя без остатка. Разница между ними проявится только тогда, когда придёт настоящий шторм, — вот тогда и станет окончательно ясно, держит узел или нет.

Сидевший у костра долго молчал, задумчиво глядя на огонь и обдумывая услышанное с той тщательностью, с какой обдумывают вещи, кажущиеся простыми лишь на первый поверхностный взгляд.

— Ты, сам того совершенно не осознавая, — сказал он наконец, — только что сформулировал закон, применимый значительно шире, чем твоё собственное ремесло вязания узлов. Всякое дело, сделанное второпях, несёт в себе эту самую спешку как скрытый, невидимый глазу изъян — и изъян этот не проявляется до тех самых пор, пока не наступит момент настоящей нагрузки. А момент нагрузки наступает рано или поздно решительно во всём: в любви,

в дружбе, в повседневной работе, в самом устройстве человеческого характера. Люди сплошь и рядом строят между собой отношения быстро, второпях точно так же, как вяжут второпях узел, — а потом искренне удивляются, почему же эти отношения рвутся при самом первом по-настоящему серьёзном порыве ветра. А ведь узел вовсе не виноват в том ветре, что его в итоге испытал на прочность. Узел виноват лишь в одном: в том, что был завязан наспех, второпях, без должного терпения.

— Но как же научиться терпению, — спросил путник от моря, — если вся окружающая жизнь только и делает, что подгоняет со всех сторон? Реклама вечно куда-то торопит, начальство торопит с отчётами, даже собственные наручные часы, кажется, торопят одним своим тиканьем?

Мастер ненадолго задумался, продолжая при этом машинально перебирать верёвку пальцами, будто мысль его текла в том же самом ровном темпе, что и работа рук.

— Терпение, — сказал он наконец, — вовсе не про то, чтобы обязательно делать всё медленно, тянуть время без нужды. Вот, к примеру, мой сын — он вяжет узлы значительно быстрее меня самого, и держат они при этом ничуть не хуже моих, — потому что он с самого раннего детства смотрел, как вяжу я, впитывал это с малых лет, и терпение у него в руках уже как бы встроено само собой, ему вовсе не требуется специально, сознательно замедляться. Терпение, если вдуматься по-настоящему, — это вовсе не скорость движения рук или ног. Это отсутствие внутренней спешки, тревоги, даже если сами руки при этом движутся достаточно быстро. Спешка, настоящая, разрушительная спешка, — это ведь совсем не про темп работы, а про внутреннюю тревогу. Про страх не успеть чего-то важного. Уберите этот страх — и человек вполне сможет двигаться быстро, при этом внутренне оставаясь совершенно терпеливым. А оставьте этот страх на месте — и человек будет двигаться сколь угодно медленно, оставаясь при этом суетливым внутри себя самого, просто внешне подобная суета будет не так уж и заметна постороннему наблюдателю.

Он закончил очередной узел, придирчиво осмотрел его, а затем резко, с явным удовольствием, дёрнул за оба конца верёвки одновременно, проверяя его на прочность, — узел не поддался ни на волос.

— Вот и весь секрет всего моего ремесла целиком, — сказал он, неспешно поднимаясь на ноги и отряхивая песок с колен. — Дело вовсе не в одних только руках, как я по молодости лет ошибочно полагал. Дело в том, что у тебя творится внутри, покуда сами руки заняты работой.

Он ловко забросил моток верёвки себе на плечо, кивнул на прощание собравшимся у костра и не спеша пошёл в сторону далёких рыбацких сараев — туда, где его дожидались собственная лодка и сеть, которую предстояло тщательно подготовить к предстоящему вечернему выходу в море.

Путник от моря долго смотрел ему вслед, а потом сказал негромко, скорее самому себе, чем сидевшему рядом собеседнику:

— Знаете, а ведь я пятнадцать лет как раз и вязал узлы второпях. Каждое дело второпях, каждое решение — бегом, лишь бы поскорее. И держались эти узлы, если, по совести, ровно до первого настоящего волнения. Просто раньше мне некому было об этом сказать так же просто, как этот человек сказал про свою верёвку.

Сидевший у костра ничего не ответил на это признание — лишь молча кивнул, соглашаясь, и подложил в огонь ещё одну ветку, наблюдая, как невысокая, уверенная в каждом своём шаге фигура мастера постепенно уменьшается вдаль, сливаясь наконец с серыми очертаниями рыбацких сараев.

Вторая вежа этого долгого дня осталась лежать на песке рядом с забытым обрезком старой верёвки, которую мастер второпях не подобрал, уходя: разница между спешкой и подлинным терпением совершенно не видна снаружи, на первый взгляд, — она неизбежно проявляется

лишь в момент настоящей нагрузки; а потому вяжи все свои дела так, чтобы они выдержали именно шторм, а вовсе не только спокойный, безветренный штиль.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гроза гремит на весь свет — и уходит за час.

Чай остывает молча — а тепло его длится годами.

К полудню солнце наконец добралось до своей верхней точки, и берег стал совсем другим, чем был на рассвете: серый песок посветлел, высох и начал звенеть под ногами тем сухим, рассыпчатым звоном, каким звенит только полуденный песок, а вода в устье реки стала такой прозрачной, что было видно, как у самого дна лениво поводят плавниками мелкие рыбёшки, которым тоже, судя по всему, было жарко.

Костёр к этому часу горел уже не для тепла — тепла и без него было вдоволь — а горел, так, как идут дела, начатые всерьёз: ровно, негромко, по-хозяйски. Сидевший у огня время от времени подкладывал в него понемногу — не больше, чем нужно, чтобы пламя жило, и не меньше, чем нужно, чтобы оно не обиделось.

И вот со стороны посёлка, невидимого за дюнами, — оттуда, откуда с утра доносился то далёкий собачий лай, то стук топора, то тот особый, ни на что не похожий гул человеческого жилья, который слышен только тогда, когда сам сидишь в тишине, — показалась та самая женщина с корзиной, что днем трогала узлы мастера.

Её было видно издалека, и по одной только походке можно было составить о ней целое представление ещё до всяких слов. Она шла быстро, но не суетливо — той особой, плотной, устойчивой походкой, какой ходят женщины, у которых день расписан не по часам даже, а по делам: пока тесто подходит — сбегать туда, пока печь топится — успеть сюда. Корзину она несла на сгибе локтя, по-хозяйски, чуть отставив в сторону, и корзина эта покачивалась в такт шагам так слаженно, будто они с хозяйкой ходили вместе уже лет двадцать и давно сработались.

Она вовсе не собиралась задерживаться у костра — это тоже было видно сразу. Она шла мимо, по своим делам, и костёр с сидящими возле него людьми был для неё просто частью берега, как сваи старого причала или выброшенное морем бревно. Но, поравнявшись с огнём, она замедлила шаг. Потом остановилась — так, будто её кто-то тихо окликнул, хотя никто не произнёс ни слова. Потом постояла секунду, глядя на пламя и на людей возле него, и — сама, кажется, удивившись собственным ногам — подошла и села на то самое выброшенное морем бревно, серое, отполированное водой до гладкости старой мебели.

— Хлеб у меня свежий, — сказала она вместо приветствия, откидывая с корзины льняное полотенце, и по берегу тотчас поплыл тот самый запах, против которого бессильны все философии мира, — запах тёплого, ещё дышащего печью хлеба. — Возьмите. Всё равно много испекла. Руки сегодня сами тесто месили, как будто знали, что гостей будет больше обычного.

Она разломила ковригу — не разрежала, а именно разломила, руками, как ломают хлеб в домах, где его пекут сами и потому не боятся неровного края, — и раздала куски всем сидящим у огня. Просто, без церемоний, каждому в руки, как раздают своим. И оттого, что она не спросила ни кто они такие, ни откуда пришли, ни куда направляются, у костра вдруг стало теплее, чем от самого костра.

Путник от моря взял свой ломоть обеими руками — так берут хлеб люди, которые давно ели его только купленным, в шуршащем пакете, и успели забыть, что он бывает вот таким: тяжёлым, тёплым, живым.

— Вы всех так кормите? — спросил он. — Каждого встречного?

— Кого встречу, — ответила женщина просто, отряхивая муку с ладоней. — Знаете, я ведь долго думала, что для этого нужна причина. Особый повод, особый человек, особая ситуация — праздник там, или беда, или хотя бы знакомство. А потом однажды поняла, и даже смешно стало, до чего простая вещь: причина нужна не для того, чтобы накормить. Причина нужна, чтобы не кормить. Чтобы придумать себе удобное оправдание, почему именно этому человеку именно сегодня хлеба не досталось. А чтобы накормить — для этого причины не надо вовсе. Для этого достаточно хлеба, который у тебя есть, и человека, который перед тобой сидит.

Сидевший у огня улыбнулся — по-настоящему, широко, впервые за весь этот день.

— Вы сейчас сказали больше, — проговорил он, — чем говорят иные толстые книги, написанные людьми, которые всю жизнь изучали, что такое доброта, вместо того чтобы просто взять и проявить её хоть раз.

— Да бросьте вы, — она махнула рукой, и в этом жесте не было ни капли кокетливой скромности, одно только искреннее недоумение человека, которого похвалили за то, что он дышит. — Я простая. Никаких книг сроду не читала, кроме поваренной, да и ту больше по картинкам. Я вот что знаю — из простого, из своего.

Она отряхнула хлебные крошки с колен, посмотрела на воду, туда, где река без единого спора отдавала себя морю, и заговорила — неторопливо, обстоятельно, как рассказывают только у огня, когда никто никуда не спешит и слова можно класть одно к другому, как поленья.

— Я половину жизни искала особенного человека. Понимаете? Осо-бен-но-го. Чтобы красивый был, чтобы умный, чтобы глаза такие — с глубиной, чтобы походка эдакая, чтобы все подруги разом ахнули и позавидовали. Список у меня был — длиннее, чем вот эта река, ей-богу, не вру. Пункт за пунктом, всё продумано: и рост, и голос, и чтобы шутил, но в меру, и чтобы серьёзный, но не зануда. И я мысленно вычёркивала каждого встречного мужчину, если он не подходил хотя бы по одному-единственному пункту. Годами вычёркивала. Целое кладбище вычеркнутых у меня в голове образовалось — и всё мимо, всё не те.

Она помолчала, и в этой паузе слышно было, как трещит огонь и как далеко-далеко, у горизонта, вздыхает море.

— А потом однажды — обычный день был, самый непримечательный, я даже число не помню, вот что обидно, — пришла я с рынка. Усталая, злая как собака, промокшая насквозь, потому что дождь налетел неожиданно, а зонт я, конечно, дома оставила. Сумки тяжёлые, туфля натёрла, настроение — хоть вой. И сосед мой — обычный человек, совершенно обычный, ничего в нём нет из моего списка, ни высокого роста, ни особенного ума, ни каких-то там бездонных глаз, сосед как сосед, пятнадцать лет через стенку живём, — увидел меня в подъезде, ничего не сказал, ни одного слова, представляете? Просто открыл свою дверь пошире, забрал у меня из рук сумки, поставил передо мной горячий чай и пододвинул табуретку поближе к печке. И всё.

Она развела руками — широко, беспомощно, как разводят руками перед чем-то, что до сих пор не уместается в слова.

— Понимаете? Всё. Больше ничего не было. Я сидела на той табуретке, грела руки о кружку, от мокрого пальто шёл пар, за окном лил дождь, а я думала: господи, как хорошо-то. Просто — хорошо. Не празднично, не головокружительно, не как в кино. Уютно и тепло. И весь мой знаменитый список — весь, целиком, со всеми пунктами про рост и глаза — сгорел в ту минуту, как бумажка, брошенная в печку вместе с остальными дровами. Даже пепла не осталось.

— И что же осталось, когда список сгорел? — спросил сидевший у огня тихо, так, чтобы не спугнуть рассказ.

— Один вопрос остался, — сказала женщина, и голос её стал серьёзным. — Всего один, зато настоящий. Не «какой он» — а «какая я рядом с ним». Слышите разницу? Не цвет его

глаз, не рост, не годы, не разница в возрасте, из-за которой подруги потом шептались у меня за спиной, — а какое место я занимаю в его жизни. Настоящее ли — это место, моё ли, — или так, приступочка, на которую становятся ногой, чтобы удобнее было забраться куда-нибудь повыше. Вот и весь секрет. За него люди платят молодостью, лучшими годами платят, а некоторые так и не расплачиваются вовсе до самой старости — потому что попросту не догадываются задать себе этот простой вопрос.

Путник от моря недоверчиво покачал головой, дожёвывая хлеб.

— Слишком просто получается, — сказал он. — Если бы всё в жизни решалось одной чашкой чая...

— А чашкой чая ничего и не решается, — ответила она спокойно, ничуть не обижевшись на возражение. — Вы меня не так поняли. Чашка чая ничего не решает — она только показывает. Как лакмусовая бумажка в детском наборе для опытов — помните, были такие наборы? Опустил бумажку в воду — и сразу видно, что там на самом деле, в этой воде, хоть на вид она и прозрачная. Так и тут. Рядом с одним человеком ты становишься больше самой себя — умнее, добрее, спокойнее. Рядом с другим — меньше: сжимаешься, извиняешься за каждое слово, следишь за собой, как на экзамене. Один слушает тебя — и ты прямо на глазах умнеешь, потому что тебя не перебивают, не торопят, не поглядывают украдкой на часы. Другой просто молчит с тобой рядом — а молчание получается полное, сытное, как вот этот хлеб, им наестся можно. А бывает и наоборот: говорит красиво, ухаживает щедро, цветами засыпает, комплиментами, — а выйдешь от него на улицу и чувствуешь себя посудой, из которой поели и забыли помыть. Тело всё это знает раньше головы, вот в чём штука. Тело никогда не ошибается. Просто голова шумит, перебирает варианты, взвешивает выгоды, сверяется со списком — и не даёт услышать то, что тело давным-давно поняло и тихонько пытается сказать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.